



М. Вельская

Статуэтка Танагра

Я увидел ее впервые незадолго до войны в Закопаном, в обществе красивого молодого человека атлетического сложения, как выяснилось потом, ее жениха. Она была необыкновенно хороша собой и вызывала живейшее внимание со стороны международной курортной публики. Оттого, что я уже давно наблюдал за нею, я знал, что с момента ее появления за табль-д'отом все невольно заглядывались на нее, и ловил те замечания, которыми обменивались на ее счет отельные гости. Никто, собственно, ничего не знал о ней толком, но оттого, что эта пара совершенно игнорировала и самой курортную публику, и то внимание, которое возбуждала в ней, разговоры, конечно, вертелись исключительно вокруг нее.

Познакомились мы совершенно случайно, в горах, хотя и жили в одном отеле. Однажды, рано утром, подымаясь узкой тропинкой, я вдруг услышал русскую речь и невольно остановился. Прямо передо мной, на обрыве скалы, облитые первыми робкими лучами солнца сидели они оба в альпийских костюмах с отброшенными на мшистый ковер рюкзаками и палками. Оба они были так хороши на суровом фоне скалы в бледном свете пробуждающегося утра, что я залюбовался ими. Они продолжали говорить, далекие от мысли быть понятыми кем-либо.

Мне не оставалось ничего иного, как приподнять шляпу:

— Доброе утро!—сказал я громко по-русски.

— Доброе утро!--дружно отозвались тотчас-же сверху и улыбнулись приветливо.

— Какая неожиданность: соотечественники?..

— Не совсем,—прозвучало сверху,—но мы оба все же из России...

У нее был низкий, музыкальный голос, как нельзя более гармонизировавший с ее прелестной внешностью.

— Вы наврех?..

— Да, полюбоваться на восход солнца...

— Как жаль, что мы уже спускаемся.. —сказали оба в один голос.

Я не стал мешать им и, сняв шляпу, нехотя побрел дальше. Сапоги вдруг стали тяжелыми, чуть поднимающееся солнце—нестерпимо палящим, а туман—затрудняющим движение вперед.. За одним из поворотов до меня вдруг донеслась песня. Пел несильный, но приятный баритон. Я остановился и прислушался.

... Много разбойники пролили
Крови честных христиан...

—разобрал я отчетливо. Припев подхватили речитативом уже два голоса.

Это было нашей первой встречей. К сожалению, на следующий день меня вызвала фирма обратно в Эстонию и я уехал, так и не представившись и не выяснив национальности моей прекрасной незнакомки, унося с собой тихую грусть и воспоминание о прелестнейшем, какой мне приходилось встречать до сих пор, женском облике.

И вдруг, во время войны, в Варшаве, куда я приехал из провинции, чтобы навестить своего старого полкового командира, встречаю в его маленькой, увешанной гравюрами лошадей, квартирке на Маршалковской, мою закопанскую красавицу.

— Мы, кажется, уже знакомы?—спросила она в то время, как я склонялся к ее узкой руке.

—К сожалению, нет, но мы встречались пять лет назад..

И я напомнил ей Закопанэ.

— Да, да, совершенно верно... Бог мой, как мал свет!

На этот раз мы разговорились и я узнал, что она литовская татарка из Вильно, родилась в Москве и любит русский язык, а жених ее—тот молодой человек, которого я видел вместе с нею—поляк, тоже из России, сын офицера, погибшего в русской армии в Великую войну.

— А ваш жених?... Или вы уже замужем?..

— Увы, нет... Он в плену, в Германии...

И, слово за слово, она рассказала мне историю своего первого неудачного замужества с варшавским присяжным поверенным, с которым, разводилась как раз в период нашей первой встречи. Было это что-то в середине августа, а первого сентября она в последний раз видела своего жениха—офицера польского воздушного флота, спасшегося тогда с армией в Англию и уже оттуда совершавшего налеты на Германию. Во время одного из таких налетов, его аэроплан был сбит и он попал тяжело-раненым в плен.

— Вы переписываетесь?..

— Да, он мне пишет очень часто...

Она замолчала. В ее глазах как будто сверкнули слезы. Мой полковник - хозяин тотчас-же заговорил на другую тему, а я сидел откровенно любуясь ею, не в силах отвести взгляда от ее прелестного лица, усталой позы и красивых, холеных рук. Заходившее за варшавскими крышами солнце золотило вороненую сталь ее волос, отражаясь искорками в устремленных вдаль глазах.

Я подумал, что никогда не видал женщины более совершенной—все в ней было так необычайно гармонично, что ни один, даже самый строгий скульптор или художник не смог-бы придумать ни к чему.

После ее ухода мы еще долго говорили о ней. Я никогда не подозревал, что мой полковник, которого я знал до сих пор, как большого знатока лошадей, проявит себя таким горячим поклонником прекрасного пола! Оказалось, что ее звали Заремой. Это имя, вызывавшее представление о „Бахчисарайском фонтане“, как нельзя более подходило к ней. Я вспомнил, как ее называли „персидской княжной“ мои соседи-французы в Закопаном, как я сам, до того, как услышал русскую речь, считал ее испанкой или турчанкой.

— Ей надо было родиться принцессой Кави,—говорил полковник.—Такое благородство линий встречается разве только у арабских кобылиц... Смотреть на нее — эстетическое наслаждение... Какое изящество, какая гибкость, ну, прямо,—статуэтка Танагра!

Вероятно, я просто надоел ему вопросами в тот вечер, потому, что он вдруг предложил мне, съездить на следующий день с визитом к Зареме. Помню, что это предложение вызвало во мне бурю восторга, что ночь я спал плохо, и в трамвае, пока мы пересекали Вислу, вел себя прямо как гимназист.

Она жила сразу-же за мостом Понятовского, по дороге на Прагу, в модной части города, застроенной двухэтажными, домиками типа вилл.

— А если ее не окажется дома?...—волновался я.

— Посидим со старушкой (я уже знал, что она жила вместе с матерью своего жениха), поболтаем, может быть и ее дождемся...—невозмутимо отвечал полковник.

По счастью, мои опасения оказались напрасными. Она была дома, обрадовалась нам, и мы провели незабываемый вечер в ее уютной, со вкусом обставленной квартире, полной цветов и культом ее жениха. Отовсюду смотрели его портреты, большие, маленькие, любительские карточки, фотографии его детства, летние талисманы, альбомы, книги. Видно было, что здесь только и жили им. Его мать оказалась очаровательной. Она уже забыла порядком русский язык и говорила, мило коверкая слова, и сама же потом над собой потешаясь.

Был чудный июньский вечер и вышло так, что старушка с полковником устроились на балконе в то время, как Зарема показывала мне альбомы и снимки из Закопаного в гостиную.

Эти фотографии знакомых мест, связанные к тому же с беззаботными воспоминаниями довоенного времени, давно отошедшими в область преданий, тихая грусть прекрасной женщины подле меня и вся обстановка вокруг,—точно сблизили нас и, случилось так, что само-собой, без того, чтобы я расспрашивал ее об этом, она рассказала мне сначала о том, как познакомилась за год до нашей встречи в Закопаном со своим Владеком, как женихом и невестой, полные самых радужных надежд на будущее, они снова вернулись туда, а потом достала пачку перевязанных ленточкой открыток и стала читать мне их.

Это были его письма из плена. Все они были на немецком языке, который, как выяснилось тут-же, он изучает основательно, чтобы владеть им, так же, как и другими.

— Он хотел стать дипломатом после нашей свадьбы... Шестью европейскими языками он владеет в совершенстве!

В ее голосе была гордость. Ах, если бы вы знали, какой он чудный!

Последнего мне и не нужно было говорить. В тех немногих скупых словах, которые можно-было уместить на открытке, было столько безграничной любви, столь-

ко преданности и благодарности судьбе, пославшей ему счастье быть любимым ею, что в его чуткости и благородстве я и не сомневался даже. Если тогда, во время нашей встречи в Закопаном, я смотрел только на нее и не замечал ее спутника, то теперь у меня было достаточно времени, чтобы рассмотреть его на фотографиях и убедиться в том, что у него хорошее, открытое и смелое лицо. Его любовь к ней граничила с обожанием:

„Я знал, что Бог сохранит меня для тебя,“—писал он в одном месте. Каждое слово было полно надежды и бодрости, никаких терзаний или сомнений. Все его письма постоянно упоминали о том, что живет он в прекрасных условиях, занимается спортом и языками, много читает.

— И вот это-то,—говорила она,—наверно меня на мысль съездить туда, в Саксонию, воочию убедиться в этом, издали взглянуть на лагерь, подышать с ним одним воздухом... С невероятными трудностями, только благодаря моему нансеновскому паспорту, который я снова получила после развода, мне удалось добиться разрешения на въезд в Германию. Конечно, я ничего не написала Владеку. Но ехала я уже в надежде повидать его самого, хотя бы только издали. Я надела голубое спортивное пальто и такую-же шапочку, по которым он-бы сразу узнал меня. Мне не повезло. Был хмурый мартовский день и уже в городке, где я сошла с поезда, я поняла что в такой день ни гулять, ни играть в футбол никто не будет. Однако, я тем не менее, разузнав, где английский лагерь, храбро отправилась в путь. До лагеря было, по крайней мере, километра четыре. Я шла безрадостными голыми полями и сердце мое сжималось. В такой унылой местности жил уже два года Владек и писал свои бодрые верующие письма! Лагерь я увидела уже издали. Он был огорожен колючей проволокой, но здания его с большими широкими окнами и редкими деревьями перед ними производили скорее больничное впечатление. За окнами двигались тени, раза два я даже останавливалась, чтобы взглянуть попристальней, но отделявшее меня от здания пространство было так велико, что даже в ясный солнечный день я не смогла-бы ничего разобрать. Начался дождь. Настроение мое граничило с отчаянием. И вдруг мне пришла сумасшедшая мысль,—пойти в лагерь, поговорить с комендантом, расспросить его о Владеке, быть может, умолить его дать мне возможность взглянуть на него... В какие нибудь пять минут я пробежала расстояние, отделявшее меня от ворот лагеря с будкой часового и остановилась перед ней.

— Доложите обо мне коменданту!—

сказала я часовому. Тот указал мне на здание с надписью „Стража“, где мне пришлось заполнить какой-то бланк, как это в таких случаях полагается. Что я переживала, стоя в помещении стражи, не поддается описанию! Сердце мое колотилось так бешено, что я прижимала к нему обе руки. Через несколько минут дежурный вернулся и предложил мне следовать за ним к помощнику коменданта. Я шла, как во сне, моя невероятная энергия сменилась реакцией, я едва передвигала ноги. Помню смутно, как мне навстречу поднялся немолодой офицер в погонах майора, как он предложил мне сесть и как я, опустившись в кресло подле его стола, погружилась в небытие... Очнувшись я от того, что вдохнула нашатырный спирт: надомной суетились испуганный майор и санитар с повязкой на рукаве. Этот майор оказался добрым и отзывчивым человеком и отнесся ко мне отечески-сердечно. Он знал Владека, тепло отзывался о нем, но разрешить свидания не мог.

— Вам придется подать прошение на имя Вождя... Но это свидание ограничено одной минутой времени...

— Одной минутой?

Я была в отчаянии. Тогда, чтобы хоть сколько нибудь утешить меня, майор предложил мне показать помещения столовой, читальни, гимнастического зала. Я проходила коридорами, где, может быть, ступали ноги Владека, держалась за ручки дверей, которые, быть может, еще недавно были в его руках. Потом в коридоре майор подвел меня к дверям одной из комнат. Был час послеобеденного отдыха; все пленные в это время должны были находиться у себя. Через стекло, затянутое вуалевой занавеской, я увидела светлую комнату, картины на стенах, цветы на окнах, книги на столе и две постели. На одной кто-то спал; второй стоял спиной к нам, у окна. Это продолжалось какую-нибудь секунду. И только в тот момент, когда майор, потянув меня за рукав напомнил, что нужно идти дальше, я поняла, что человек у окна был Владек!

— Это все, что я мог для Вас сделать,—сказал мне на прощанье майор.

Она покраснелась рассказывая, это, и стала похожей на девочку.

— Как же отнесся к этому Ваш жених?

— Вот смотрите: „После твоего ухода майор был у меня. Как мне благодарить тебя, Зарема? Этим твоим поступком ты подтвердила мне, что наше чувство сильнее всякой разлуки. Я счастлив безгранично и горжусь тобой...“

— А как-же свидание? Вы подадите прошение?

— Владек умоляет меня не делать это—

— Одна минута!.. Ведь мы ничего не сможем сказать друг-другу...

Она не договорила. В комнату входил полковник:

— Друг мой, увы, пора домой, а то мы рискуем попасть на гауптвахту...

Мы простились очень сердечно и вышли провожаемые добрыми напутствиями и просьбами заглядывать. Я был очень молчалив в этот вечер и, вероятно, у полковника создалось впечатление, что я сделал какую-нибудь глупость.

Через день я уезжал и, к сожалению, больше никогда ничего о нем не слышал.

Было все это незадолго до варшавского восстания, во время которого у меня буквально сердце кровью обливалось за моих тамошних друзей. Я с жадностью проглатывал животрепещущие газетные сообщения и набрасывался на каждого, кто мне мог рассказать что-либо о Варшаве. А там и меня самого втянуло в мясорубку войны с тем, чтобы исковеркать окончательно, и больным и измученным выкинуть уже на юге Германии.

И вот, год спустя после того, как замолкли сирены и отзвучала орудийная пальба, попадаю я, совершенно случайно, в поисках родных и друзей из Эстонии, на курорт Верхней Баварии, занятый под лагерь УНРРА. Маленький, чистенький городок произвел на меня самое благоприятное впечатление, еще усилившееся в тот момент, как я ступил в балтийский лагерь. „Дипломатическим“ языком здесь был общеизвестный всем этим странам русский, и на меня так и пахло домашним уютом.

С друзьями, которых удалось разыскать, пошел за обедом в столовую. Передо мной длинная очередь с котелками и кастрюльками в руках. И вдруг вижу, как мне улыбается и кивает из этой очереди дама. Подхожу: усталые темные глаза на худом заострившемся лице, нездоровый румянец на впалых щеках.

— Не узнаете?...— слышу низкий, знакомый голос.

— Боже мой, Зарема???

— Значит, не так уж изменилась?..

Я был счастлив и вместе с тем ошеломлен. Моя прекрасная статуэтка стояла передо мной, но в каком жалком виде! Я забросал ее вопросами, на которые она едва успевала отвечать.

— Мы бежали тогда из Варшавы.. Мама — вы ведь помните ее, — оттеснили от меня в пути... Боже, что это был за ужас, как совершенно потеряли человеческий облик! Я была в отчаянии, хотела вернуть маму, что мне оставалось делать?..

— Вы живы, Зарема, и это главное...

— Не знаю... улыбнулась она нерешительно.

— А Ваш жених?..

— Я розыскиваю его до сих пор... Обращалась в польские комитеты, к британским оккупационным властям—все безрезультатно...

— Он найдется, конечно... Может быть, мы придумаем чтонибудь вместе... Вы разрешите мне зайти к вам?..

— О, конечно, конечно... Комната 22! Я жду вас, непременно...

Наскоро проглотив обед, я помчался к ней. Она помещалась в одной комнате с литовской супружеской четой с грудным ребенком. Ребенок крепко спал, родителей не было. Она провела меня в свой угол за шкафом, завешенный одеялом, и горько улыбнулась:

— Времена меняются, не правда-ли?..

— Все это так не существенно,—сказал я беззаботно.—Как я счастлив, что снова вижу вас!.. Расскажите же мне о себе...

Кровь стынет у меня в жилах, когда я вспоминаю этот рассказ. Это была Голгофа нечеловеческих мук, самое жуткое, что мне когда-либо приходилось слышать из женских уст.

С лавиной беженцев Зарема попала в Вену, где ее устроили в отеле „Космополит“, и без того уже переполненном беженцами. Благодаря знакомствам в русском эмигрантском комитете, ей удалось устроиться немного лучше других, хотя бы уж потому, что у нее была отдельная комната. И вот это-то и породило зависть. Начались интриги, мелочные уколы, сплетни, мимо которых она старалась проходить не замечая их, полная своими собственными заботами... Однажды ночью к ней постучались. За дверью была полиция, перепуганный хозяин гостиницы, какие-то штатские. Сделали обыск, забрали фотографии жениха, письма, драгоценности, бумаги и, даже не дав ей одеться, в халате и накинутом поверх него пальто, увезли с собой на допрос. Ей предъявили обвинение в шпионаже, уличали в связи с поляками, искусно заплетали бесконечную цепь лжи. Она ссылалась только на свидетельские показания, называла имена русских, знакомых ей по беженскому комитету, просила опросить всех их; никаких оправдательных бумаг, никаких доказательств у нее не было... Прошла неделя. И вот в один прекрасный день ее посадили в машину и, вместо допроса, которого она ожидала, вместо оправдания, отвезли из тюрьмы предварительного заключения в принудительный лагерь за городом. Там, в канцелярии лагеря, ей сказали, что ее дело будет разбираться особо, а до того, она, как всякая еврейка, должна работать. Никакие ссылки на мечеть и эмигрантский комитет не помогли, она была зачислена в лагерь, как еврейка! Отчаянию Зарема не было границ. И потекли дни моральных униже-

ний, достигшие своего апогея, когда однажды ее позвали в канцелярию и объявили, что она переводится в лагерный публичный дом...

— Смотрите,—она повернула руки, и я увидел рубцы шрамов на запястьи,—только это спасло меня...

— Бедная, бедная Зарема!

Я был потрясен. Я понял, от чего эти скорбные складки в углах рта и безконечная усталость в запавших глазах!

— Вы совсем здоровы теперь, совсем оправились?..

— Доктору не нравятся мои легкие... Он хочет отправить меня в санаторий.

Сердце мое сжалось.

— Я потеряла тогда много крови,—повела она глазами на свои руки,—а кроме того, нас били в лагере...

— Боже мой, какой ужас!

— Только бы мне найти теперь Владека,—вздохнула она.—Если Бог спас меня, то ведь не для того же, чтобы мне умереть от чахотки?..

— Бог с вами, Зарема!

Она взяла с меня слово, что я навещу ее в санаторий. На прощанье я взял обе ее руки в свои и, повернув их, бережно поднес к губам грубые рубцы на запястьи. В этот миг мне вспомнилось Закопанэ...

Это было в начале июля. После этого я получил от нее коротенькую открытку из санатория, на которую почему-то не собрался сразу ответить, и вот на-днях приходит письмо со знакомым адресом „ДР Госпиталь номер такой-то“. Открываю его, — письмо по немецки, незнакомый почерк. Посмотрел на подпись: сестра Бенита. В чем дело?—думаю. Начал читать и ахнул, заняло сердце, глаза наполнились слезами:

„Вчера на моих руках скончалась Зарема Свентицкая. Она умерла как лилия, сломанная ветром. Последним ее желанием была просьба розыскать ее жениха...“

Я написал в Интернациональный Красный Крест и польский эмигрантский комитет в Лондоне; но предчувствие подсказывает мне, что Владека уже давно нет в живых.

